

# МЕДЬ И МОРЕ

ИНЖЕНЕР ДЛЯ КОРМЧЕГО



КРИСТИНА СОЛЬ

18+

Кристина Соль

**Медь и море. Инженер  
для кормчего**

«Автор»

2026

## **Соль К.**

Медь и море. Инженер для кормчего / К. Соль — «Автор», 2026

Мария Ковалёва, инженер-механик с уральского завода, ехала в командировку, а очнулась в ледяном море эпохи викингов. Рядом тонет корабль со сломанной мачтой, и первое, что она делает в новом мире, — чинит его посреди шторма. Кормчий Лейф не благодарит, а платит серебром по весу, как мастеру. Он берёт её до ближайшего порта. В порту Маша понимает: одинокой женщине без рода здесь не выжить, если она не сделает то, чего не умеет никто. Например, паровую машину из меди, дуба, глины и моржовой кожи. У неё три недели, пока осенние шторма не закроют море. Кузнец, который умеет слушать. Медь, в которой нельзя быть уверенной. Ярл, которому нужен корабль без парусов и который привык, что ему не отказывают. И кормчий, который пять лет хранит одну тайну и впервые позволяет кому-то в неё заглянуть. Роман о том, как инженерный расчёт встречается со знанием моря, и о любви двух людей, каждый из которых привык полагаться только на себя.

© Соль К., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1. Шторм                    | 5  |
| Глава 2. Кормчий                  | 10 |
| Глава 3. Порт                     | 16 |
| Глава 4. Предложение              | 22 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 26 |

# Медь и море. Инженер для кормчего

## Глава 1. Шторм

Редуктор дробилки на Качканарском комбинате был третью неделю, и никто не мог сказать почему. Мне прислали графики вибрации, четыре фотографии и письмо главного механика, где слово «срочно» стояло два раза, а слово «пожалуйста» ни разу. Я читала всё это в поезде, с командировочным ноутбуком на коленях, и к Нижнему Тагилу уже знала ответ. Подшипник на промежуточном валу посадили без нагрева, посадка ушла, вал гуляет. Оставалось доехать, снять крышку и показать пальцем. Больше всего в своей работе я люблю именно этот момент, когда можно показать пальцем.

За окном тянулись горы. Уральские вблизи совсем не похожи на картинку из учебника: старые, стёртые, до самых макушек заросшие ельником, они давно устали быть высокими. Дед говорил, что это самые честные горы на свете, потому что им нечего доказывать. Дед был слесарем шестого разряда и про честность понимал в основном через допуски и посадки.

Его часы сидели у меня на запястье. «Восток», механика, тридцать лет на его руке и ещё десять на моей. На водонепроницаемость дед проверял их так же, как проверял всё остальное: опустил на ночь в ведро с водой, а утром поднёс к уху. Тикали. Когда он умер, отец хотел отдать часы в музей завода, и я впервые в жизни на него накричала.

Стрелки показывали без двадцати пять. Я закрыла ноутбук, чтобы дать глазам отдых, и стала смотреть на ельник, который шёл вдоль насыпи сплошной тёмной стеной. Стена надвинулась. Вагон качнуло вбок и вниз, как вагоны не качаются, свет из окна пропал, и следующим, что я запомнила, был холод.

Он ударил в грудь и выбил весь воздух разом. Тело попыталось вдохнуть без моего разрешения, там, где вдыхать было нельзя, и я глотнула солёного, закашлялась и ушла под воду. Вынырнула, колотя руками. Сверху было серое, снизу чёрное, и чёрного было больше.

Первые секунды в холодной воде самые опасные. Это я знала с курсов по охране труда, которые на заводе читали каждый год и которые прогуливали все, кроме меня. Человек тонет от первого вдоха, от паники, от того, что дёргается. Если продержаться минуту и выровнять дыхание, дальше появляется время. Немного, но появляется. Я легла на спину, раскинула руки и заставила себя дышать медленно, считая про себя до четырёх на вдохе и до четырёх на выдохе. Волна подняла меня плавно и высоко, как грузовой лифт, и на гребне я увидела, куда попала.

Море было серо-зелёное, вздутое длинными горбами, и ветер срывал с гребней пену и нёс её полосами, белыми на тёмном. Тучи висели так низко, что задевали брюхом волны. Дождь, брызги или всё это вместе хлестало в лицо почти горизонтально, и соль щипала глаза. Берега не было. Я успела оглядеться дважды, на двух гребнях подряд, прежде чем в это поверила. Метрах в сорока от меня лежал корабль, и это было единственное твёрдое во всём видимом мире.

Длинный, низкий, из тёмного дерева. Доски обшивки ложились внахлест, одна на другую, как чешуя, нос поднимался высокой крутой дугой и заканчивался резной головой, которую я на таком расстоянии не разобрала. Палубы в нашем понимании у него не было, и людей внутри было видно сразу, как в открытой лодке. Мачта торчала обрубком. Всё, что было выше, лежало в воде у борта: длинное бревно поперёк, ком тёмной ткани и путаница канатов.

«Драккар», сказала мне голова, которая в третьем классе прочитала всё про викингов, что нашлось в районной библиотеке. «Такого не бывает», сказала та же голова через секунду. Я ответила им обеим, что разбираться буду на твёрдом, и это был первый разумный вывод за день.

Вода была градусов двенадцать, может, меньше. При двенадцати градусах у меня минут двадцать, пока руки ещё слушаются, а в волне, в одежде, после удара о воду, скорее пятнадцать.

Сорок метров в бассейне я проплываю меньше чем за минуту. В бассейне нет волн, и в бассейн я не прыгаю в джинсах и свитере.

Ботинки я сняла первыми. Шнурки размокли и не развязывались, пришлось стягивать пяткой о пятку, уходя под воду с головой, и второй ботинок я выпустила с таким сожалением, какого не испытывала к обуви никогда. Свитер тянул вниз, но без свитера я замёрзну быстрее, чем утону, так что свитер остался. Джинсы не снимаются в воде вообще, это знает любая женщина, хоть раз пытавшаяся снять их даже на суше после дождя.

Корабль лежал бортом к волне и к ветру. Каждый вал бил его в бок, валил на сторону, и через край, который почти лёг на воду, переплёскивало внутрь. Ветер толкал его ко мне. Он двигался быстрее, чем могла плыть я, и значит, догнать его было незачем. Нужно было встать у него на пути, чуть в сторону от того места, куда его несёт, и ждать. Я отгребла вбок, держась лицом к кораблю, и старалась не тратить силы на то, что от меня не зависело.

Обломки подошли первыми, потому что упали они на подветренную сторону и корабль гнал их перед собой. Бревно оказалось реем, толстым, в обхват моего бедра, скользким от воды. Я вцепилась в него обеими руками и какое-то время просто висела, пока волны перекачивали нас обоих. Парус шевелился рядом тяжёлым мокрым пластом. Шерстяной, поняла я по запаху. Даже здесь, в соли и ветре, от него пахло мокрой овцой.

Рей бился о борт. Это я увидела, когда подтянулась ближе по канату, который шёл от его конца куда-то вверх, к краю корабля. Каждая волна поднимала бревно и с размаху била им в обшивку, чуть ниже того места, где борт выходил из воды. Доски там уже поддались. Одна треснула вдоль, и из трещины при каждом ударе выплёвывало воду. Корабль таскал за собой собственный таран.

Я поднималась по канату, перехватывая руками и упираясь ступнями в скользкие доски, и насчитала два удара, прежде чем добралась до края. На третьем меня сорвало бы. Сверху протянулась рука размером с совковую лопату, сгребла меня за ворот свитера и втащила внутрь, как котёнка.

Я упала на мокрые доски, на колени, между какими-то сундуками, и первое время могла только кашлять. Надо мной стоял огромный человек с рыжей бородой, заплетённой в две косицы. Вода текла с его бороды, с бровей, с железного обода на запястье. Он смотрел на меня с тем выражением, с каким смотрят на рыбу незнакомой породы, вытащенную вместе с сетью.

— Ран отдала, — сказал кто-то позади него, высоко и сорванно. — Ран отдала её обратно, смотри, Оорм, это из её сетей!

— Молчи, — сказал рыжий, не оборачиваясь.

Я поняла каждое слово. Язык был чужой, гортанный, с тянущимися гласными, я никогда в жизни его не слышала, и при этом понимала его, как понимаю русский, без перевода и усилия. Это было настолько за пределами всего, что я знала о мире, что я отложила это целиком, не разглядывая, как откладывают на верхнюю полку деталь, про которую непонятно, от какого она механизма. Сначала надо было не утонуть. Корабль под коленями ходил так, что утонуть сейчас можно было и на нём.

Я поднялась, держась за рыжего, потому что он был ближе всего и стоял надёжнее всего, и огляделась. Внутри было человек тридцать. Большая часть вычерпывала воду деревянными ковшами и бадьями, передавая их через край, и работала молча, упрямо, с серыми от холода лицами. Двое сидели прямо на дне, обхватив головы. Один, молодой, совсем мальчишка, стоял на коленях у обломка мачты, прижимал к губам серебряный молоточек на шнурке и звал Одина, потом Тора, потом снова Одина, перебирая их, как перебирают номера в телефоне, когда первый не берёт трубку. У кормы трое держали длинное рулевое весло, закреплённое у правого борта. Двое налегали на рукоять всем весом, а третий стоял между ними и смотрел на море. Он не кричал, не молился, не оборачивался на шум. Он смотрел на волны, и я видела, как он чуть сдвигает руку на рукояти перед каждым валом.

Потом я посмотрела на мачту, и всё остальное отошло назад. Её сломало в двух метрах от основания, чуть выше моей головы. Излом был свежий, светлый, с длинными рваными волокнами, торчащими в разные стороны. Дерево живое, не гнилое. Значит, сломала его нагрузка, и материал тут ни при чём, а это уже хорошая новость, потому что с нагрузкой можно работать, а с гнилью можно только выбрасывать. Мачта уходила вниз сквозь огромную дубовую колоду, которая лежала поперёк корабля на уровне бортов и держала её, как держит зуб десна. Как эта колода называется, я не знала и про себя окрестила её опорой.

От излома вниз по обрубку шла трещина. Она шла по волокну, прямая, как прочерченная, и уже почти дошла до опоры. Я смотрела на неё, пока корабль кренился на следующей волне, и увидела, как она раскрылась на палец и сошла обратно. Обрубок работал в опоре рычагом. Каждый крен раскачивал его, каждое раскачивание вбивало клин трещины глубже. Когда трещина пройдёт через опору и дальше, к основанию, в самый низ корабля, обрубок начнёт выворачивать всё, во что он упирается. Я не знала, как этот корабль устроен внизу, но знала, что силы, которые сейчас ломают дерево, рано или поздно найдут самое слабое место. У деревянного корабля в шторм самое слабое место одно, и находится оно под водой.

Две беды, сказала я себе. Рей долбит борт снаружи, мачта рвёт корабль изнутри. И обе беды держатся на одном: корабль стоит боком к волне, и волна валяет его, как хочет.

У борта двое мужчин уже подняли топоры над канатами, которые держали обломки.

— Стой! — Я кричала на их языке, даже не заметив, как на него перешла. — Не руби!

Топоры замерли. Мужчины посмотрели на меня, потом на рыжего. Рыжий посмотрел на меня.

— Оно разобьёт нам борт, — сказал он. Спокойно, без злости. Так объясняют ребёнку, почему нельзя трогать печку.

— Разобьёт, если оставить сбоку. Отрубишь — перестанет бить, а корабль так и будет лежать боком, и следующая большая волна его перевернёт. — Я показала на канаты, на нос, снова на канаты, хотя в брызгах и в полутьме вряд ли кто-то различал, куда я показываю. — Надо перенести канаты на нос. Весь этот хлам, парус, бревно, выпустить с носа на длинном конце. Парус в воде держит, как ковш, корабль будет висеть на нём носом. Нос развернёт к волне. Корабль перестанет валяться и начнёт резать.

Про плавучий якорь мне рассказывал отец, когда мне было семь, а у него была дюралева лодка на Таватуе. Он объяснял, почему в непогоду лодку держат носом к волне: нос узкий и режет, а борт длинный и принимает удар всей своей длиной. Позже я нашла в книжке про яхтсменов картинку с конусом из брезента на тросе и из интереса посчитала, какую силу он даёт на разных скоростях. Мне тогда было двенадцать, и я считала всё подряд. Никогда не думала, что эта картинка пригодится мне в жизни.

Рыжий не двигался. Я поняла, что он решает, стоит ли вообще разговаривать с тем, что вылезло из моря. Мне не нравилось, что это занимает у него столько времени.

— Ты кто такая? — спросил он.

— Та, которая не хочет тонуть второй раз за день.

Он повернул голову к корме. Человек у рулевого весла смотрел на нас. Я не знала, сколько он видел и что расслышал сквозь ветер, но он смотрел прямо на меня, и смотрел, похоже, давно. Он кивнул. Один раз, коротко, и снова отвернулся к волнам.

— Кормчий сказал — делай, — сообщил рыжий и заорал на людей так, что я на секунду оглохла.

Рыжий, которого, как я уже поняла, звали Орм, распоряжался быстро и без лишних слов. Шестеро бросили ковши и полезли вдоль борта, перехватывая канаты. Концы, которые держали рей и парус, отвязывали по одному и тут же брали новым канатом, длинным, который притащили из-под сундуков, и вели этот новый конец вперёд, к носу, из рук в руки. Я шла

рядом и следила, чтобы ни один конец не отпустили раньше, чем возьмут следующий. Если обломки уйдут сейчас, второго шанса не будет.

Когда последний старый конец отдали, обломки отошли от борта. Рей перестал бить, и я слышала это раньше, чем увидела: из грохота исчез один звук, тяжёлый и глухой, к которому я, оказывается, уже привыкла. Ветер и волна потащили корабль прочь от обломков, канат вытянулся с носа, натянулся до звона, и корабль медленно, неохотно, через два вала, которые ещё успели ударить его в бок, начал поворачиваться.

Кормчий работал веслом вместе с поворотом. Я это видела, потому что смотрела на корму в ожидании, что он будет мешать. Он не мешал. Он ловил каждую волну так, чтобы она работала на поворот, и нос уходил к ветру ровнее, чем я рассчитывала. Когда корабль встал к волне носом, его перестало валить с борта на борт. Теперь он поднимался на каждый вал, как на горку, и опускался в провал за ним. Качка стала другой, длинной и тяжёлой, но через борт больше не лилось. Вёдра и ковши вдоль бортов застучали чаще, и я слышала, как кто-то из черпальщиков выругался с облегчением.

Корабль перестал валяться и начал кланяться. С кланяющимся кораблём можно договориться.

Оставалась мачта. Трещина за это время ушла ещё на ладонь, до самой опоры, и теперь при каждом подъёме на волну обрубков тихо, отчётливо поскрипывал внутри. Звук был плохой. Я слышала такой однажды у вала мельничного привода на старом заводе в Верхней Пышме, за сутки до того, как этот вал лопнул.

— Орм! Мне нужны две доски. Длинные, крепкие, в мою руку длиной и ещё столько же. И ремни. Много ремней, самых прочных, что есть.

Орм огляделся. Доски на корабле были, только все они были кораблём. Вдоль бортов стояли сундуки, крепкие, окованные, и на них, я потом узнала, гребцы сидели, когда шли на вёслах. Один сундук рей размолотил, когда падал: крышка расколота, бок выбит, чужие рубахи, мешочек и деревянная ложка рассыпаны по мокрому дну. Я показала на него. Хозяин сундука, чернявый мужик с перевязанной ладонью, открыл рот. Орм посмотрел на него. Хозяин закрыл рот и сам начал выламывать доски.

С ремнями вышло лучше, чем я надеялась. Орм принёс бухту тёмного скользкого каната, толщиной в палец, тугого, как резиновый жгут.

— Моржовая кожа, — сказал он. — Крепче не бывает.

Я пощупала. Кожа была сырая, тянулась под пальцами и возвращалась обратно. Вот и уплотнитель, и бандаж, и материал, из которого делать работу, когда нет металла. Хорошая вещь. Сырая кожа, высыхая, садится и стягивает то, что обмотано ею, намертво. Если обмотать обрубков сейчас, к утру повязка затянется сама, как гипс на сломанной ноге.

Мы поставили доски по обе стороны от трещины, вдоль обрубка, так чтобы нижние концы упирались в опору, а верхние доходили до излома. Орм держал их, прижимая всем телом, а корабль поднимался на волну и падал с неё, и нас обоих мотало вместе с ним. Я обматывала. Моржовый канат шёл туго, я наматывала его витками вплотную, от опоры вверх, и на каждом третьем витке пропускала под него щепку, чтобы потом было за что держаться. Руки у меня к этому времени почти не чувствовались. Пальцы стали деревянные и чужие, и я вязала узлы, глядя на них, потому что по ощущениям определить, завязан узел или нет, уже не могла.

— Этого мало, — сказал Орм, когда я закончила. Он смотрел на обмотку с сомнением, и я его понимала. Выглядело это как забинтованный палец великана.

— Мало, — согласилась я. — Дай палку. Короткую, крепкую.

Он подал обломок весла. Я просунула его под обмотку посередине, между двумя витками, и повернула. Канат натянулся. Я повернула ещё раз, и доски вжало в дерево. На третьем обороте у меня не хватило сил, и я отдала палку Орму.

— Крути, пока не станет совсем туго. Потом ещё полоборота. Потом держи и не отпускай.

Он крутил. Он был очень сильный, этот Орм, и канат под его руками затянулся так, что застонал. Я привязала конец палки к обмотке, чтобы её не раскрутило назад, и положила ладонь на обрубок, прямо над опорой.

Корабль поднялся на волну. Я ждала скрипа, но скрипа не было. Было глухое, плотное напряжение, которое я чувствовала ладонью, и в нём не было ничего, что ломалось. Корабль опустился. Снова поднялся. Трещина под обмоткой не раскрылась, а если и раскрылась, то на такую долю, которой уже можно было пренебречь. Дерево держало нагрузку вместе с досками. Мачта стала короче и уродливее, зато снова целой.

Я села на край чужого сундука, потому что ноги решили, что стоять им больше не обязательно. Орм посмотрел на обрубок, потом на меня, потом снова на обрубок. Потом полез за пазуху, достал плоскую кожаную флягу и сунул мне в руки. Внутри было кислое, жгучее и тёплое, и я выпила два глотка, прежде чем закашлялась.

— Мёд, — сказал Орм. — Плохой. Лучше, чем ничего.

Дедовы часы на запястье были в воде и в соли, стекло запотело изнутри, но секундная стрелка шла. Я смотрела на неё дольше, чем стоило, пока она обходила круг, и думала, что дед был бы доволен. Он бы сказал, что часы в порядке и что я тоже. Про себя я была далеко не так уверена, как он про часы.

Шторм выдохся не сразу. Ещё долго шли длинные тяжёлые валы, ещё долго черпали воду, и трещина в борту, куда бил рей, продолжала сочиться, хотя уже не выплёскивала при каждом ударе. Но ветер стал слабеть порывами, между порывами появились промежутки, а потом промежутки стали длиннее порывов. Дождь перешёл в морось. Тучи поднялись и разошлись на западе рваной щелью, и в эту щель, под самым краем облаков, выглянуло низкое солнце. Оно легло на волны медным светом, и море из серого стало тёмно-зелёным с медью по гребням. Где-то далеко, в стороне этого света, над водой крикнула птица.

Люди перестали черпать и сели кто где стоял. Мальчишка с молоточком спрятал его за пазуху, посмотрел на мачту, на меня и не сказал ничего, но губы у него шевелились. Кто-то за моей спиной опять сказал «Ран», тихо, уже без страха. Хозяин разбитого сундука собирал со дна свои рубахи и выжимал их по одной, и вид у него был такой, что с этой минуты он считает меня личным несчастьем. Мне кто-то бросил на плечи плащ, тяжёлый, колючий, пропахший дымом и овцой. Я закуталась в него до подбородка и только тогда поняла, как меня трясёт.

Рей с парусом по-прежнему держал нас за нос, покачиваясь впереди на длинном канате. Кому-то надо будет его вытаскивать, но не мне и не сейчас.

Я повернулась к корме. Кормчий передал весло одному из тех двоих, что держали его вместе с ним, и сказал ему что-то коротко, одним словом. За всё время, что я была на корабле, он ни разу не выпустил рукоять. Теперь выпустил. Он пошёл вдоль корабля ко мне, переступая через сундуки и вёсла, и люди на его пути сдвигались, не поднимая головы, так же привычно, как сдвигаются, пропуская тележку в цеху.

Он был высокий, но не такой огромный, как Орм. Сухой, жилистый, в мокрой куртке из тёмной кожи, с короткой светлой бородой, в которой соль лежала белыми крупинками. Лет тридцать пять, может, сорок, по лицу, выдубленному ветром, точнее не скажешь. Глаза у него были светлые, почти прозрачные, и очень внимательные. Так смотрят на новый прибор, когда он только что показал верное значение, а можно ли доверять ему дальше, ещё не решили.

Он остановился передо мной. Посмотрел на обрубок мачты в моржовой обмотке, на палку, на мои руки, ободранные в кровь, и только потом мне в лицо.

— Кто ты, — сказал он.

Вопросительной интонации в этом не было. Так говорят, когда ответ собираются получить в любом случае.

## Глава 2. Кормчий

— Маша, — сказала я, потому что с имени обычно начинают. — Мария Ковалёва.

Он повторил имя одними губами, без звука, и я поняла, что запомнил он его сразу и навсегда. Так опытный монтажник, мельком глянув на схему, запоминает, где какой провод.

— Лейф, — сказал он. — Кормчий. Откуда ты?

Ответа у меня не было, а врать ему не хотелось. Честность тут была ни при чём, я просто прикинула: врать человеку с такими глазами — это как затягивать гайку, не зная, какая на ней резьба. Сорвёшь с первого оборота. Поэтому я сказала то, что было правдой хотя бы наполовину.

— С востока. Очень далеко на востоке.

— Гардарики?

Слово я слышала двумя способами сразу. Звучало оно по-чужому, а понимала я его как «земля городов», и где-то в голове, на той самой полке, куда я утром отложила язык, щёлкнуло: так они называли Русь. Школьный учебник истории, седьмой класс, параграф про варягов.

— Дальше, — сказала я. — Гораздо дальше. За горами.

— И как ты попала в море?

— Не знаю. Ехала, закрыла глаза, открыла уже в воде.

Кормчий смотрел на меня, не мигая, дольше, чем принято смотреть на собеседника. Я держала взгляд. На заводе меня так проверяли все новые начальники цеха, и все, кроме одного, сдавались первыми. Лейф не сдался. Он просто решил, что узнал достаточно, и перевёл взгляд на мачту.

— Что ты сделала с ней?

Я объяснила, как могла. Трещина шла по волокну, обрубок работал в опоре рычагом, на каждом крене нагрузка ложилась на кончик трещины и гнала её глубже. Доски приняли на себя изгиб, обмотка сжала волокна, чтобы трещина не раскрывалась. Половину слов его язык мне дал, половины у него просто не было. Слова «нагрузка» не нашлось, вышло что-то вроде «тяжесть, которая давит». «Волокно» превратилось в «жилу дерева», и это было даже точнее. На «рычаге» я застряла и показала руками.

Лейф выслушал до конца, не перебивая. Потом положил ладонь на обмотку, туда же, куда днём клала свою я.

— Ты связала её, как связывают сломанную ногу. Двумя дощечками, туго.

— Да. Лубок.

— А парус ты отдала морю, чтобы оно держало нас за нос. — Он кивнул в сторону носа, где впереди на длинном канате качался рей. — Вместо того, чтобы оно держало нас за борт.

Я открыла рот и закрыла его обратно. Про плавучий якорь я ему не объясняла вовсе. Он дошёл до этого сам, сверху вниз, от того, что видел, к тому, как оно работает, за то время, пока я вязала узлы. Инженеры так не думают. Мы идём снизу, от формулы к железу, и половина наших ошибок случается как раз потому, что железо узнаёт о формуле последним. Лейф думал с другого конца и приходил в ту же точку.

— Ты знал, что так можно? — спросила я.

— Нет. — Он убрал руку с мачты. — Теперь знаю.

— Отдохни, — сказал он. — Своё ты сегодня сделала. — И пошёл обратно на корму, а я осталась стоять с ощущением, что меня взвесили на весах, показаний которых мне не показали. Солнце к этому времени легло на край моря и растеклось по нему. Волна ещё шла длинная, тяжёлая, но уже без пены, и корабль кланялся ей медленно, с достоинством, скрипя всем корпусом на подъёме. Теперь, когда на нём никто не кричал, я расслышала этот скрип и поразилась, какой он разный. Трещали и постанывали доски обшивки, тонко пели на ветру уцелев-

шие канаты, глухо стукали друг о друга сундуки. Разваливающаяся конструкция звучит иначе, это я знаю хорошо. Корабль дышал.

Я присела у борта и присмотрелась к обшивке изнутри. Доски шли внахлест, каждая верхняя нависала над нижней на ширину ладони, и там, где они сходились, их прошивали железные заклёпки. На каждую заклёпку с внутренней стороны была надета маленькая квадратная шайба, и конец заклёпки расклёпан поверх неё. Точно так же клепали фермы старых железнодорожных мостов, я видела такие под Нижним Тагилом. К шпангоутам, толстым изогнутым рёбрам, доски крепились и вовсе не гвоздями. Их привязывали. Через проушины, выдолбленные в самой доске, шла тонкая жилка, туго, виток к витку.

Корпус был сделан гибким нарочно. Он уступал волне и возвращался, как рессора. Кто-то сотни лет назад, не зная ни одной формулы про модуль упругости, понял, что море ломает всё, что с ним спорит, и построил вот это, чтобы оно поддавалось. Мне захотелось позвать этому мастеру руку. Потом до меня дошло следующее: гибкий корпус хорош, пока в нём всё гнётся одинаково. Любая жёсткая заплатка в такой обшивке будет каждую волну выламываться из соседних досок. Эту мысль я отложила, потому что корабль как раз начал разворачиваться.

Выбирать плавучий якорь Лейф начал без меня. Я поднялась, чтобы объяснить, что тянуть за канат против нагрузки бесполезно: парус в воде держит, как ковш экскаватора, и шестеро мужиков его не перетянут. Но гребцы уже расселись по сундукам, вытащили вёсла из-под скамей и проделали их в круглые отверстия в верхней доске борта, и корабль медленно пошёл вперёд, на свой собственный якорь. Канат провис. Орм выбирал слабину, наматывая её на локоть и ладонь, и через полчаса рей подтащили к борту без единого надрыва.

— Ты хотела сказать, что тянуть руками не выйдет, — заметил Орм, проходя мимо меня с бухтой каната на плече. Он даже не запыхался.

— Было дело.

— Кормчий это знает с тех пор, как у него борода выросла. — Он подумал и добавил без всякой насмешки: — А про нос не знал. Про нос никто не знал.

Я решила считать это комплиментом. Другого мне тут, судя по всему, не светило.

Я села обратно. Мне хватило честности признать, что это верное решение и что додумалась до него не я. Лейф просто знал, как это делается, так же, как я знаю, что гайку на валу затягивают крест-накрест.

Рей и мокрый парус втащили внутрь вместе с обломанной верхушкой мачты, которая так и висела на тех же канатах, и уложили вдоль корабля, и тогда стало понятно, насколько парус тяжёл. Шерсть напитала столько воды, что четверо еле развернули её, чтобы проверить на разрывы. Разрывов оказалось два, оба небольших. Один из гребцов, пожилой, с бельмом на глазу, тут же сел их штопать костяной иглой, прямо на коленях, в сумерках, на ощупь.

— Поставим? — спросил Орм, кивнув на обрубок мачты.

Вопрос был не ко мне, но я почувствовала, как на меня посмотрели сразу несколько человек. Рей был в длину метров десять, а обрубок мачты высотой едва выше человека, и повесить на него парус можно было только уменьшенный, наполовину. Но ветер был попутный, на двухдневном переходе вёсла проигрывали парусу, и я видела, что многим эта идея нравится.

Лейф посмотрел на мачту, потом на меня и спросил:

— Сколько она держит?

— Себя держит. — Я подошла и положила ладонь на обмотку. Кожа уже начинала подсыхать сверху и чуть садиться, я чувствовала это пальцами. — Парус с ветром даст ей рычаг в два раза длиннее, чем был днём, и тянуть будет в одну сторону, постоянно. Может выдержать. Может треснуть до основания к утру. Я бы не стала.

— Значит, вёсла, — сказал Лейф.

Сказал он это ровно, без нажима, и спорить никто не стал. Орм кивнул и пошёл рассказывать людям.

От кормы донеслось бурчание. Я не сразу разобрала, чьё, потом увидела: Скафти, хозяин разбитого сундука, сидел над своими выжатыми рубашками и говорил, ни к кому не обращаясь, но так, чтобы слышали все.

— Женщина на корабле — море злится. Все знают. Сначала мачта, теперь она. Потом дно выпадет.

— Мачта сломалась до неё, — сказал Лейф, не поворачивая головы.

Больше он ничего не добавил. Скафти замолчал, но смотрел на меня так, что я поняла: одного факта против приметы хватит ненадолго.

Только тогда я заметила, что стою босиком. Ботинки остались где-то в море, носки сползли и потерялись по дороге, и ступни у меня были белые, сморщенные от воды и совершенно бесчувственные. Я пошевелила пальцами и не поняла, пошевелились они или нет. Орм тоже это увидел. Он ушёл на нос, покопался в своём сундуке и вернулся с парой кожаных башмаков, мягких, сшитых из одного куска и стянутых ремешком вокруг щиколотки. Башмаки были размера на четыре больше моего. Я набила их клочьями шерсти, которую пожилой гребец надёргал для меня из старого плаща, затянула ремешки и сделала несколько шагов по мокрым доскам. Ходить в этом можно было только вразвалку, как утка, зато ноги через четверть часа начало колоть изнутри тысячей иголок, и это было лучшее ощущение за весь день.

— Отдашь в Хвитавике, — сказал Орм. — Или купишь. Они у меня любимые.

В темноте раздали еду. Мне сунули в руки кусок сушёной рыбы, твёрдой, как подошва, ломоть лепёшки из грубой муки и глиняную кружку с чем-то кислым и густым, похожим на жидкий творог. Рыбу пришлось размачивать в кружке, иначе зубы не брали. Я ела, и меня тем временем рассматривали. Открыто, без стеснения, в упор. Никто не спрашивал, откуда я, все и так видели, что из моря. Спрашивали другое.

— Ты правда умеешь чинить всё? — Это был мальчишка, тот, с молоточком. Он сел рядом на корточки и держал свою кружку обеими руками. — Орм говорит, ты посмотрела на мачту, и мачта тебя послушалась.

— Мачты не слушаются. Они подчиняются законам. Кто знает законы, со стороны выглядит так, как если бы с ним договорились.

Это было неосторожно сказано. Мальчишка округлил глаза и явно решил, что законы у мачт есть, но известны только избранным, и что я одна из них. Звали его Эйвинд, ему было пятнадцать, и он шёл в третий поход, а в первых двух не отходил от родного фьорда дальше чем на день пути. Он рассказал это за пять минут, и ещё за пять про то, что везёт корабль. Моржовую кость, моржовые шкуры, канаты из них, тюлений жир в бочках, меха. Шли с далёкого севера, с полным трюмом, домой, к торгу, и шторм застал их на третий день пути.

— А куда шли?

— В Хвитавик. — Он махнул рукой куда-то вперёд, в темноту. — Там ярл Харальд, там торг, там всё.

Хвитавик я тоже слышала двумя способами: звуком и смыслом. Белая бухта. Я подумала, что бухта, названная по цвету, скорее всего, названа так за меловые скалы или за песок, и что если там есть кузня, то есть и уголь, и руда где-то рядом. Голова работала, хотя я её об этом не просила.

— Он сказал — до порта, — сообщил Эйвинд без всякого перехода. — Кормчий. Сказал Орму, что ты идёшь с нами до Хвитавика. А там сама.

Спасибо он мне так и не сказал. Ни за мачту, ни за парус, ни за то, что корабль до сих пор не лёг на бок. Он сказал: до порта. Для начала сойдёт. Я видела начальников, которые говорили «спасибо» при каждом удобном случае, и ни одному из них я бы не доверила вести корабль.

Ночь была холодная и ясная. Шторм выдул из неба всё, и звёзды высыпали такие, каких я не видела ни разу в жизни, даже за городом, даже на Таватуе. Их было столько, что знакомые созвездия терялись среди незнакомых, и Большую Медведицу я нашла не сразу. Вёсла шли

мерно, в одном темпе, и под этот темп кто-то на носу начал вполголоса то ли петь, то ли считать. Я закуталась в плащ, привалилась спиной к сундуку и попробовала заснуть. Не вышло. Тело устало так, что гудело, а голова не выключалась. Каждый раз, когда я закрывала глаза, передо мной опять вставал вагон, тёмная стена ельника и тот качок вбок, которого у вагонов не бывает.

Я думала о том, что отец, наверное, уже знает, что я не доехала. Качканар позвонил на завод, завод позвонил ему, и он сидит на кухне с телефоном и в третий раз набирает мой номер. Про маму я запретила себе думать сразу, как только эта мысль подошла близко. Инженеру, который не может решить задачу, полагается отложить её и заняться той, которую решить может. Я знала это правило и много раз им пользовалась. Оно работало со сроками, с поставщиками, с начальством. С отцом на кухне оно не работало совсем. Я сидела, смотрела в звёзды и пыталась сообразить, что мне делать, если назад дороги нет, а вперёд видно только до Хвитавика. Выходило, что делать надо то же, что и всегда: смотреть, что вокруг есть, и прикидывать, что из этого можно собрать. Руки у меня остались при мне. Голова тоже. С этим уже можно работать.

Отчёт по редуктору так и остался недописанным в ноутбуке, который сейчас, наверное, лежал на полу того вагона. Главный механик Качканара так и не узнает, что всё дело в посадке подшипника. Почему-то именно эта мысль, совсем мелкая, оказалась последней каплей, и я уткнулась лицом в колючий плащ и посидела так, пока не прошло.

Я поднялась и пошла на корму. Шла осторожно, по краю, через ноги гребцов, и все, кто не спал, отодвигались, давая мне дорогу. Лейф стоял у рулевого весла один. Весло было огромное, широкое, закреплено на правом борту у самой кормы, и держалось оно на толстой деревянной подушке, привязанной к борту, и на скрученном жгуте из какой-то гибкой лозы. Ни шарниров, ни болтов. Весло поворачивалось в этом жгуте, как в суставе. Я стояла и смотрела на крепление, пока не поняла, что Лейф смотрит на меня.

— Не спится, — объяснила я.

— Море после шторма не даёт спать, — сказал он. — Первые дни.

— Ты откуда знаешь, куда идти? — Я показала на небо, на воду. — Ни берега, ни ориентира. Облака днём, звёзд не было, компаса у вас нет.

Слово «компас» вышло у меня по-русски, я сама услышала, как оно чужеродно легло между их словами. Лейф пропустил его мимо ушей.

— Звёзды есть сейчас. — Он не показал на них, просто чуть поднял подбородок. — И волна есть. Вот эта.

Я посмотрела на волну. Она была как волна.

— Шторм шёл с запада. — Лейф говорил медленно, как для ребёнка, но без снисхождения. Так объясняют ученику, который способный, но пока ничего не видит. — Волна от шторма идёт с запада, короткая и злая. А под ней с севера идёт другая, длинная, её ветер не делает. Её делает лёд, далеко. Она идёт всегда, пока лето. Встань.

Он отступил на полшага от весла и кивнул мне на рукоять. Я взялась за неё двумя руками. Рукоять была гладкая, отполированная до блеска чужими ладонями, и тёплая после его рук. Весло почти ничего не весило, пока корабль шёл ровно, а потом его чуть повело. Мягко, изда- лека, снизу.

— Это она, — сказал Лейф. — Северная. Держи так, чтобы она приходила сюда. — Он коснулся моего локтя, левого, там, где руку повело. — Всегда сюда. Тогда мы идём на юго-восток. Звёзды скажут точнее, только звёзды бывают через ночь. Она приходит каждую.

Я держала весло и ждала следующую длинную волну. Она пришла точно туда, куда он сказал. Потом ещё одна. Потом я перестала их ждать и начала чувствовать, как чувствуешь на станке, что подача идёт ровно, ещё до того, как согласишься на стружку.

— Ты это как считаешь? — спросила я. — Сколько волн, какой угол, с какой скоростью?

— Не считаю. — Он забрал у меня весло, спокойно, без спешки. — Знаю.

Мы помолчали. Где-то на носу кто-то всё так же вполголоса пел свой счёт, и вёсла ложились в воду в его ритм.

Я поняла тогда, что стою рядом с приборами, которых у меня никогда не было. Лейф был и компасом, и лагом, и барометром, всё в одном, только показания его нельзя было ни проверить, ни записать, ни передать другому, кроме как вот так, из рук в руки, годами. Всё, что знала я, можно было записать на листке и отдать. Всё, что знал он, умирало вместе с ним, если он не успевал кого-то научить. Я не знала, чьё знание в итоге сильнее, и мне это очень не нравилось, потому что обычно я знаю.

— За горами, — сказал Лейф, не глядя на меня. — Там все женщины такие?

Вопрос прозвучал ровно, без насмешки и без интереса, так спрашивают про глубину у незнакомого берега.

— Нет, — сказала я. — Там тоже мало кто такой. Меня в детстве за это ругали.

— За что?

— Разбирала всё, что в доме было. Часы, приёмник, мамину швейную машинку. Собирать научилась позже.

Уголок его рта чуть сдвинулся. Улыбкой я бы это не назвала, для улыбки там не хватало нескольких миллиметров, но это было первое движение на его лице, которое не касалось моря. Потом я пошла обратно и всё-таки уснула, прямо сидя, прислонившись к сундуку Скафти, потому что это было ближайшее твёрдое.

Разбудил меня стук ковшей. Было серо и сыро, рассвет ещё только собирался, и над водой лежал низкий туман, от которого борта покрылись росой. Туман стоял так плотно, что нос корабля с резной головой на нём таял в сером уже в двадцати шагах, и вёсла уходили в пустоту и выныривали из неё. Резную голову я наконец разглядела ночью, при звёздах: конская, с раздутыми ноздрями и прижатыми ушами. Корабль звался «Морской Конь», это я тоже услышала сразу, смыслом поверх звука. В тумане кричали невидимые чайки, низко, над самой водой, и пахло холодной солью и мокрой шерстью. Гребцы сменились, на вёслах сидели другие. А у самого дна, в средней части корабля, на коленях стояли трое и вычерпывали воду. Работали размеренно, но без остановки, и по их лицам я видела, что начали они не сейчас.

Я спустилась к ним и сначала посмотрела на воду. Её было на три пальца над настилом, мутная, с плавающей щепой. Не много. Потом посмотрела на ковши и прикинула. Каждый ковш — литра полтора. Трое черпали примерно раз в две секунды каждый. Если вода при этом не убывала и не прибывала, то внутрь её шло столько же, сколько выносили. Я пересчитала дважды, потому что первая цифра мне не понравилась.

— Давно течёт? — спросила я у ближнего.

Он поднял на меня мокрое, усталое лицо. Это был тот самый пожилой с бельмом, который ночью штопал парус.

— Всегда течёт, — сказал он. — Корабль старый. Но так — с ночи.

— Где?

Он показал подбородком на левый борт. Туда, куда вчера бил рей.

Я легла на мокрый настил и сунула руку в воду между шпангоутами, под самую нижнюю доску обшивки. Пальцы нашли её сразу. Там была заплатка, старая, почерневшая: кусок доски, наложенный поверх разбитого места и посаженный на заклёпки. Щель между заплатой и обшивкой когда-то забили шерстью, пропитанной смолой, и она давно спеклась в твёрдую корку. Корка теперь торчала наружу рваными ключьями, а три заклёпки из пяти шатались под пальцами. Вчерашний рей бил ровно сюда, в соседнюю доску, двадцать, тридцать раз, может, больше. Каждый удар выламывал эту жёсткую заплату из гибкой обшивки, и вот вчерашняя моя мысль про заплатку вернулась ко мне в самом неприятном виде.

Вода шла сквозь щель ровной упругой струёй. Я чувствовала её ладонью, как холодный ветер из-под двери зимой. Пока я там лежала, одна из шатающихся заклёпок под пальцами сдвинулась ещё на волос, и струя стала шире.

Я вытащила руку и села. Надо мной стоял Лейф. Когда он подошёл, я не слышала.

— До Хвитавика? — спросила я.

— Два дня на вёслах.

Я посмотрела на ковши, на воду, на заплату, которую теперь было видно даже сверху, по ряби над ней. Струя за ночь стала сильнее, и к полудню станет ещё сильнее, потому что каждая волна продолжала делать то, что начал рей. Трое черпали и едва справлялись с тем, что было сейчас. Гребцы на ближних сундуках поглядывали на воду под ногами и молчали, и молчание это было нехорошее, тяжёлое, какое бывает в цеху, когда все уже поняли, что линия встанет, но никто ещё не сказал вслух. Со своего места на корме Скафти смотрел мимо воды, прямо на меня. Он ничего не говорил. Ему и не надо было, про дно он сказал ещё вечером.

— Двух дней у нас нет, — сказала я.

## Глава 3. Порт

— Сколько у нас есть? — спросил Лейф.

Он спросил это так же, как спросил бы о глубине: ему нужна была цифра, и он был готов её услышать. Я ещё раз посмотрела на ковши и на рябь над заплатой.

— К полудню щель разойдётся шире. Тогда трое уже не успеют, понадобятся шестеро. К вечеру десять. Гребцов останется мало, пойдём медленнее, а чем медленнее идём, тем дольше волна её расшатывает. — Я прикинула ещё раз. — Завтра к утру черпать будут все, и никто не будет грести.

— Заплату можно сбить обратно?

— Изнутри нет. Заклёпки уже не держат, дерево вокруг них размоложено. Если начать стучать, вылетит вся доска. — Я вытерла мокрую ладонь о джинсы, которые от этого мокрее не стали. — Щель надо закрыть снаружи. Тогда вода сама будет прижимать заплатку к борту, и чем глубже, тем сильнее.

Лейф посмотрел на воду за бортом. Туман к этому времени поредел, море лежало тёмное и гладкое, только длинная северная зыбь медленно поднимала и опускала корабль.

— Снаружи туда не достать. Вода холодная, человек не продержится.

— Человеку и не надо. — Я огляделась. — Мне нужно что-то большое, плотное и гибкое. Кусок паруса, но парус нам нужен. Кожа. У вас шкуры в трюме, моржовые. Одна шкура, самая толстая, и две длинные верёвки.

Кто-то из гребцов присвистнул. Скафти на корме приподнялся, но промолчал. Я поняла, почему, когда Эйвинд шёпотом, округлив глаза, сообщил мне цену одной выделанной моржовой шкуры на торгу в Хвитавике. Цифру я не запомнила, запомнила только, что на эти деньги можно было купить корову.

Лейф думал недолго. Он посмотрел на заплату, на бочки с жиром, на тюки со шкурами под настилом и за несколько вдохов сложил в голове то же самое, что и я, только с ценами.

— Шкура дешевле корабля, — сказал он. — Орм.

Шкуру вытащили из-под настила, из-под сложенных тюков, и развернули на досках. Она была огромная, в полтора моих роста, серо-бурая, толщиной в палец, и пахла так, что даже гребцы, привыкшие к этому запаху за недели похода, отворачивались. Я прошла по ней ножом, выданным Ормом, и прорезала по углам четыре отверстия. В каждое продели верёвку и завязали узлом, который Орм сам предложил и который держал лучше любого моего.

Потом я попросила тюленьего жира. Бочку открыли, и оттуда пахло так, что шкура показалась цветочной. Жир был густой, желтоватый, и я руками размазала его по той стороне шкуры, которая должна была лечь на борт. Сверху насыпала клочья шерсти, надёрганной из того же старого плаща, из которого ночью набивали мои башмаки. Шерсть вмялась в жир и встала ворсом.

— Это зачем? — спросил Орм. Он смотрел на мои руки с глубоким сомнением.

— Вода пойдёт в щель и потащит шерсть за собой. Шерсть набьётся в щель, разбухнет и заткнёт её. Шкура прижмёт сверху. Жир не даст шкуре скользить.

Этому способу я не училась. Я читала о нём в книге про мореплавателей, которую отец привёз из командировки, когда мне было десять. Там один капитан посадил корабль на риф у чужого берега и так дотянул до суши. У него тоже была шерсть, и парус, и больше ничего. Картинку я помнила хорошо, а вот на практике это никто на моих глазах не делал, и я старалась об этом не думать.

Вёсла подняли. Корабль потерял ход и закачался на зыбке медленно, лениво. Двое пошли с верёвками на нос, спустили концы в воду по обе стороны от форштевня и медленно повели их вдоль бортов назад, к середине, так чтобы верёвки прошли под днищем петлёй. Это Лейф

понял сразу, едва я показала руками, и дальше распоряжался сам. Я только следила за тем, чтобы петля шла ровно, не перекручиваясь.

Шкуру спустили за левый борт жирной стороной к кораблю. Она ушла под воду, и верёвки натянулись. Четверо тянули с правого борта, из-под днища, двое держали с левого, и шкура медленно поползла вниз, под воду, туда, где под поверхностью сочилась заплата.

— Левее, — сказала я, лёжа на настиле и держа руку у щели изнутри. — Ещё. Ещё на ладонь.

Струя под пальцами ослабла. Потом дрогнула и почти исчезла. Вода больше не была мне в ладонь. Теперь она тянула её к щели, и я поняла, что снаружи шкура легла точно и что давление теперь работает на нас. Шерсть там, снаружи, втягивало в щель так же сильно, как минуту назад оттуда хлестала вода.

— Держите так, — сказала я. — И вяжите.

Концы верёвок закрепили за борта, с обеих сторон, и шкура осталась висеть под кораблём, как пластырь на ране. Изнутри я затолкала в щель ещё шерсти, сколько влезло, сверху положила обрезок доски, подпёрла его колом, упёртым в ближайший шпангоут, и вбила между колом и доской клин. Орм подал мне обух топора, и клин вошёл туго, с писком.

Через полчаса вода на настиле перестала прибывать. Через час троим уже нечего было делать, и черпать остался один пожилой гребец с бельмом, неторопливо, раз в десяток вдохов. Он черпал и смотрел на меня, и лицо у него было такое, какое бывает у старых слесарей, когда молодой инженер сделал всё не по инструкции, но сделал.

— Шкура сильно испортится? — спросила я у Лейфа.

— Жир с неё смоют. Шерсть выпщиплют. — Он пожал плечами. — Продадим дешевле.

Больше о шкуре никто не говорил, кроме Скафти, и его не слушали. Два дня мы шли на вёслах. Ветер был слабый и неровный, то попутный, то в скулу, и парус на обрубке мачты Лейф так и не поставил. Гребцы менялись каждые несколько часов. Я сначала сидела без дела и мучилась этим, потом попросилась на весло. Меня посадили рядом с Ормом, и через час мне стало ясно, почему на вёслах сидят мужики вроде него. Весло оказалось тяжелее, чем выглядело со стороны, и вода цеплялась за лопасть на каждом гребке. Руки к вечеру горели, спина болела, ладони покрылись пузырями. Я честно продержалась свою смену до конца. Орм не сказал ни слова, но на следующий день отдал мне свои кожаные рукавицы, и это, видимо, тоже была благодарность.

Считать я не переставала и на весле. Тридцать гребцов, пятнадцать вёсел с борта, скорость, по моей прикидке, около трёх узлов. Человек подолгу выдаёт ватт сто, может, чуть больше, если привычный. Значит, весь «Морской Конь» идёт на мощности, которую выдаёт один слабенький лодочный мотор. Когда ветра нет, корабль ползёт. Когда ветер в лицо, корабль стоит. Когда ветер в лицо и течение в лицо, корабль идёт назад, и тридцать мужиков ломают спины, чтобы стоять на месте. Эту мысль я возвращала себе каждый раз, когда ладони начинали гореть, и она их, как ни странно, остужала.

Хвитавик показался на третье утро. Сначала на горизонте проступила тёмная полоса, неровная, с зубцами, потом зубцы стали горами, потом горы разошлись, и между ними открылся вход в длинный узкий залив. Вода в заливе была зелёная и прозрачная, я видела под бортом камни на дне, и водоросли, и рыбу, стоявшую в тени корабля против течения. По склонам ползли сосны. Выше сосен лежали серые каменные лбы, а на самом верху, на одной из вершин, уже белел снег, хотя в воздухе ещё стояло лето.

Бухта открылась за последним поворотом, и название объяснилось само. Весь берег, от одного мыса до другого, был из песка, светлого, почти белого, такого, какой бывает в южных морях на рекламных открытках. Позже я узнала, что белое на берегу — это мелко перетёртая волнами ракушка, и что этой ракушкой местные посыпают полы в домах. Тогда я просто смотрела и не могла насмотреться.

По белому берегу тянулись вытасченные на песок корабли, десятки, большие и маленькие, некоторые на катках, некоторые на подпорках, некоторые без обшивки, одни рёбра, как скелеты. Над кораблями поднимался дым. Дым был везде: над длинными домами с земляными крышами, над кузнями у самого берега, над ямами, где что-то варили в огромных котлах, над площадью, где шумел торг. Ветер донёс до нас запах: рыба, дёготь, свежая стружка, горелое железо, навоз и хлеб. Я вдохнула всё это разом и почувствовала, как у меня защипало в носу. Так пахнет любое производство, если в нём есть жизнь. Так пахла территория завода, где я выросла. На холме над бухтой стоял дом, больше всех остальных, длинный, с резными коньками на крыше и частоколом вокруг.

— Харальд, — сказал Эйвинд у меня над ухом, проследив мой взгляд. — Ярл.

Сказал он это без почтения и без страха, так говорят о погоде, которую нельзя изменить. Я запомнила дом и частокол и больше в ту сторону не смотрела, пока корабль шёл к берегу.

Когда «Морской Конь» ткнулся носом в песок и гребцы попрыгали в воду, чтобы вытащить его дальше на берег, Лейф подошёл ко мне. Я стояла у мачты, держась за обмотку, которая к этому времени высохла и села так, что по ней можно было стучать, как по дереву.

— До порта, — сказал он.

— Я помню, — сказала я. Внутри у меня было пусто и тихо, как в цеху после смены.

Он снял с запястья тонкий серебряный браслет, витой, из трёх проволок, взял его обеими руками и переломил пополам, спокойно, привычным движением. Одну половину протянул мне.

— За мачту, — сказал он. — И за шкуру.

Я взяла. Серебро было тёплое и неровное на изломе. Я не знала, много это или мало. Потом, на торгу, я увидела, как люди режут серебро на куски и взвешивают на маленьких бронзовых весах, и поняла: здесь не было монет, здесь было просто серебро, и вес был всем. Половина браслета означала, что Лейф заплатил мне по весу, как мастеру за работу. Слов благодарности я от него так и не услышала, и мне это почему-то понравилось больше, чем понравились бы слова.

— Корабль будет стоять здесь? — спросила я.

— Пока не починим мачту. И не продадим груз. — Он посмотрел на холм, на дом за частоколом, и ничего не добавил.

Потом он ушёл к людям, которые уже стаскивали с корабля тюки. Орм, пробегая мимо с тюком на плече, увидел, что я распускаю ремешки его башмаков, и мотнул головой.

— Отдашь, когда купишь свои, — сказал он. — В этих ты хоть не упадёшь.

Так я и осталась одна, в чужих башмаках. Первые полчаса я просто ходила. Башмаки хлопали по песку, шерсть в них сбилась комками, и я шла вразвалку, как утка, в джинсах, свитере и с половиной браслета в кармане. На меня смотрели. Женщины у котлов с рыбой, мужчины, которые конопатили днище вытасченного корабля, дети, бегавшие между кораблями. Смотрели открыто, без стеснения, и сразу отворачивались, когда я смотрела в ответ. Одна старуха у дымной ямы плюнула в сторону и сделала рукой знак, которого я не знала, но смысл угадала без перевода.

Потом я начала смотреть сама. Верфь занимала почти весь восточный край бухты. Корабли здесь строили прямо на песке, от киля вверх, без чертежей. Я простояла над одним остовом больше часа. Мастер, седой, в кожаном фартуке, ставил доску обшивки на место на глаз, прикладывал, снимал, строгал топором, снова прикладывал, и через десяток раз она ложилась так, что шов было не просунуть и лезвием ножа. Кили здесь вытёсывали из цельного дуба. Шпангоуты тесали из кривых стволов, выбирая изгиб ещё на корню. Заклёпки ковали тут же, в кузне в двух шагах, из железа, которое приходило крицами, пористыми бурыми лепёшками, похожими на пемзу.

Кузниц я насчитала четыре. Две ковали только заклёпки и гвозди, одна чинила топоры и ножи. Четвёртая была побольше, с двумя горнами, и там работали с бронзой: лили в глиняные формы котлы, застёжки, пряжки, колокольчики. Я постояла у её двери, пока меня не прогнали. За эти несколько минут я увидела, что мехи здесь ручные, двойные, из кожи, что горн даёт жар, достаточный для бронзы, и что формы делают из местной глины, серой и жирной, с песком.

На торгу была медь. Немного, дорого, но было. Листы привозили откуда-то с юга, свёрнутыми в рулоны, и торговец разворачивал их перед покупателями, чтобы показать, что внутри нет трещин. Было олово, в маленьких слитках. Было железо в крицах и в прутках. Была кожа, всех видов, от тонкой козьей до той самой моржовой, которой здесь обматывали всё подряд. Были горшки, была смола в бочонках, был воск, был жир. Я ходила между рядами и мысленно раскладывала всё это по полкам: это на котёл, это на трубы, это на уплотнения, это на цилиндр с поршнем, это на вал и на колесо.

На колесе я остановилась посреди рядов и какое-то время стояла, не замечая, что меня толкают. Мысль пришла не сейчас. Она пришла ещё на весле, во второй день, когда я прикидывала, что тридцать человек дают мощность одного лодочного мотора. Тогда я от неё отмахнулась, как отмахиваются от идеи, которая слишком хороша, чтобы быть реальной. Сейчас я стояла посреди торга и видела, что всё, из чего её можно собрать, лежит вокруг меня на расстоянии вытянутой руки. Всё было хуже, чем в учебнике, и металл другой, и точность. Но медь была, бронза лилась, кожа держала, глина терпела жар, а железо ковалось.

Паровые машины первыми строили люди, у которых было ненамного больше, чем здесь. Паровая машина низкого давления — это котёл, цилиндр и терпение. Котёл выдерживает мало, значит, давление маленькое, значит, мощность маленькая. Но даже маленькая мощность, которая не устаёт и которой не нужен ветер, на море стоит больше, чем любой груз моржовой кости.

И это был мой единственный шанс. Я поняла это так же ясно, как понимала обычно, где у агрегата лопнул подшипник. Одинокая женщина в чужих башмаках, в странной одежде, с половиной браслета в кармане. Язык я знала, людей не знала никого. За спиной ни родни, ни мужа, ни ремесла, которое здесь кто-нибудь понимает. Через неделю у меня кончится серебро, через две меня отсюда выгонят или найдут мне применение, которое мне не понравится. Или я сделаю то, чего здесь не может сделать никто.

Я стояла у прилавка с медью уже довольно долго. Я брала лист за край, гнула его, слушала, как он пружинит, смотрела на излом старого обрезка, лежавшего сбоку, скребла ногтем окалину. Торговец следил за мной, сначала раздражённо, потом с любопытством. А потом за моей спиной сказали:

— Медь ты не купишь. У тебя не хватит серебра даже на обрезки.

Я обернулась. Женщина стояла, прислонившись к столбу соседнего навеса, и разглядывала меня, как я сама час назад разглядывала остов корабля. Ей было лет сорок, может, больше. Высокая, крепкая, в тёмно-синем платье с серебряными застёжками на плечах и с цепочкой, на которой висели ключи, нож и маленькие ножницы. Волосы у неё были светлые до белизны и заплетены в толстую косу, лицо обветренное, с тонкими морщинами у глаз, а глаза весёлые и очень цепкие.

— Хельга, — сказала она, не дожидаясь вопроса. — Торгую всем, что продаётся. А ты та, которую «Морской Конь» вытащил из моря. Про тебя с утра говорят на всём берегу. Одни говорят, что ты дочь Ран, другие — что ты беглая рабыня из Гардарики. Третьи говорят, что ты зашила мачту, как рану.

— Я её связала, — поправила я. — Зашивать мачты нельзя.

— Смотри-ка, она ещё и спорит. — Хельга хмыкнула. — На севере, у берсерка Ульфа, тоже есть одна такая. Лекарка, взялась неизвестно откуда. Режет живых людей и шьёт, и они потом живут. Второй такой за год я не ждала. — Она отлепилась от столба и подошла ближе, глядя на мои руки, которые всё ещё держали медный лист. — Я здесь двадцать лет торгую.

Я знаю, как смотрят на медь. Жена смотрит, хватит ли на котёл. Кузнец смотрит, чистая ли. Воровка смотрит, где она плохо лежит. А ты смотришь на неё, как на лошадь, которую хочешь запрячь. Так на медь ещё никто не смотрел. Что ты ищешь?

Я положила лист на место. Врать ей было ещё бессмысленнее, чем Лейфу.

— Медь, — сказала я. — Кожу. Хорошую глину. И кузнеца, который умеет слушать.

— Зачем?

— Паровой корабль.

Слово «паровой» вышло у меня по-русски, как на корабле «компас», и мне пришлось искать ему замену в их языке. Вышло «корабль, который идёт от кипения». Звучало это совершенно безумно. Я сама это слышала.

Хельга молчала. Она смотрела на меня долго, тем взглядом, которым здесь, похоже, умели смотреть все, кто хоть чего-то стоил, и я опять держала взгляд, как держала его перед Лейфом. Где-то за её спиной ругались двое из-за весов, кричали чайки над рыбными рядами, звенел молот в кузне. Торговец медью уже не делал вид, что не слушает. Потом Хельга хмыкнула и поправила ключи на цепочке.

— Идём, — сказала она.

Она шла быстро, прямо через толпу, и толпа перед ней расступалась так же, как на корабле расступались перед Лейфом. Я еле поспевала в своих утиных башмаках. Мы миновали рыбные ряды, склады, где на жердях сушилась треска, длинный дом, из которого пахло пивом и откуда доносилась песня. Кузни на берегу остались позади, и Хельга повела меня вверх, по тропе между домами, к ручью, который сбегал с горы в бухту.

— Куда мы идём? — спросила я наконец.

— К кузнецу, который умеет слушать. — Она не обернулась. — Он живёт отдельно. На берегу его не любят, он всё делает по-своему. Зато руки у него лучшие во всём Хвитавице. И он не болтает.

— А ночевать мне где? — спросила я, потому что солнце уже клонилось к горам, а этот вопрос с утра висел у меня над головой.

— У меня склад у ручья, за кузней. Там сухо и крысы вежливые. — Хельга махнула рукой вверх по тропе. — Спать будешь на шкурах, платить будешь потом. Я беру долю со всего, что продаётся. Если твой корабль от кипения поедет, я хочу первой продавать то, что на нём привезут.

— А если не поедет?

— Тогда ты отработаешь ночлег на моём складе, будешь таскать тюки. Руки у тебя, я вижу, есть.

— Как зовут кузнеца?

— Кетиль.

Имя я услышала так же, как слышала все их имена и названия: звуком и смыслом одновременно. Кетиль. Котёл. Я споткнулась и чуть не потеряла башмак.

— Что? — Хельга обернулась.

— Ничего, — сказала я. — Подходящее имя.

У ручья стояла кузня, приземистая, из камня и дёрна, с одной широкой дверью. Из двери валил дым, и слышался ровный, неспешный стук молота, с долгими промежутками, какой бывает у кузнеца, который не торопится и сначала смотрит, куда бить. Хельга остановилась у двери и хотела что-то сказать, но в этот момент снизу по тропе послышался топот, и кто-то окликнул меня по имени.

Эйвинд бежал к нам, запыхавшийся, красный, в распахнутой куртке. Он затормозил в двух шагах, увидел Хельгу, смутился, поклонился ей кое-как и снова повернулся ко мне.

— Кормчий знает, — сказал он, глотая воздух. — Что ты не ушла из Хвитавика. И что ты ищешь кузнеца. Ему торговец медью сказал. — Он сглотнул. — Он велел спросить, какого кузнеца. Я сказал, что пойду посмотрю.

— И что ты ему скажешь?

— Что Кетиля, — сказал Эйвинд, посмотрев на дверь кузни, на дым, на Хельгу и снова на меня. — Он сказал, что если Кетиля, то он придёт сам.

## Глава 4. Предложение

Кетиль не любил, когда ему мешали, и не скрывал этого. Он стоял у наковальни спиной к двери, в кожаном фартуке, прожжённом в десятке мест, и обернулся к нам только тогда, когда опустил молот и сунул заготовку обратно в угли. Ему было лет пятьдесят. Широкий, с короткой шеей, с руками, покрытыми белыми звёздочками старых ожогов, и без бровей: их у него, похоже, не было уже много лет, и лицо от этого выглядело голым и удивлённым. Только удивления в нём не было ни капли.

— Хельга, — сказал он. — Я не продаю.

— Я не покупать пришла. — Хельга кивнула на меня. — Привела тебе работу. Послушай её.

— Женщина из моря. — Кетиль оглядел меня от растрёпанной головы до башмаков Орма. — Про неё весь берег говорит. И что она хочет?

Я огляделась, прежде чем отвечать. Кузня была тесная и тёмная, свет шёл только из двери и от горна. Горн был выложен из камня и глины, над ним висел колпак из обмазанных глиной прутьев, и дым уходил в него почти весь, лишь немного его стлалось под крышей. Наковальня стояла на толстом дубовом чурбаке. По стенам висели клещи, молоты, зубила, пробойники, всё разложено по размеру, от большого к малому, и у каждого инструмента было своё место. Я уважаю людей, у которых каждый инструмент на своём месте. Это первое, что я смотрю, когда прихожу в чужой цех. А потом я увидела мехи. Они стояли у горна, двойные, из кожи, натянутой на две деревянные доски, и работали от длинного рычага, который можно было качать одной рукой. Я подошла ближе, не спрашивая разрешения. В верхней доске каждого меха было отверстие, и его изнутри закрывал кожаный лоскут, прибитый одним краем. Когда мех раздувался, воздух открывал лоскут и входил. Когда мех сжимали, лоскут прижимало давлением, и воздух выходил только туда, куда надо, в горн.

— Это вы сами придумали? — спросила я. — Клапан.

Кетиль не знал слова «клапан», я выговорила его по-русски. Но он понял, на что я показываю, и у него дрогнули уголки рта.

— Сам, — сказал он. — На берегу мехи дуют и тянут через одну дыру. Половина жара уходит обратно. Мне надоело.

— Вам надоело, и вы сделали обратный клапан. — Я присела и потрогала лоскут пальцем. Кожа была толстая, промасленная, прибита медными гвоздиками аккуратно, шаг в шаг. — Вот это мне и нужно. Только в другом месте и для другого.

— Для чего?

Я встала. Хельга уже нашла себе место на чурбаке у двери и смотрела на нас, как на торгу смотрят на двоих, сбивающих цену. Кетиль ждал. У дальней стены стояла широкая доска, на которой он, судя по угольным меткам, размечал заготовки. Я взяла из горна остывший уголёк с краю и подошла к доске.

— Можно?

Он махнул рукой, и я нарисовала котёл. Круглый, закрытый со всех сторон, над огнём. От котла трубу. Труба вела в цилиндр, лежащий на боку, внутри цилиндра поршень. От поршня шток, от штока шатун к кривошипу, а кривошип на валу, и на обоих концах вала по колесу с лопастями. Рисовала я быстро, привычно, как рисовала сотни раз на планёрках, на обороте накладных, на запотевшем стекле вагона. Уголь крошился и мазался, рисунок получался грубым, и всё равно он был правильным. Я это видела.

— Вода в котле кипит, — начала я, показывая. — Пару тесно. Он хочет больше места. Ему дают одну дверь, вот сюда. Он толкает вот этот кругляш, поршень. Кругляш едет, толкает палку. Палка крутит вал. Вал крутит колёса. Колёса гребут, как вёсла. Только не устают.

Я обернулась. Кетиль смотрел на рисунок. Потом на меня. Взгляд у него был ровно такой, каким на заводе смотрели на меня мужики в курилке, когда я в двадцать три года, сразу после института, пришла к ним мастером участка и сказала, что старый пресс надо разобрать до винтика. Смесь жалости и осторожности. Так смотрят на человека, который, возможно, сейчас начнёт кусаться.

— Пар, — повторил он. — Толкает.

— Толкает.

— Пар — это то, что идёт от котла, когда варишь похлёбку. — Он показал на свою собственную ладонь, растопырив пальцы. — Я сквозь него руку пронёс. Им даже мух не сдуешь.

— Потому что он у вас уходит. Ему есть куда уйти, вот он и уходит. А если закрыть...

— Если закрыть, котёл лопнет. — Кетиль снял с полки деревянную кружку, отпил из неё и поставил обратно. — У Грима на свадьбе котёл с пивом закрыли крышкой и привалили камнем, чтобы собаки не лезли. Крышка ушла в стену. Камень до сих пор ищут.

Хельга у двери фыркнула. Я не удержалась и тоже улыбнулась.

— Вот именно, — сказала я. — Крышка ушла в стену. А могла бы уйти вон туда, куда вы ей скажете, и толкнуть что-нибудь. Вы сами мне сейчас рассказали, что пар толкает. Только у Грима он толкал без спроса.

Кетиль молчал. Он молчал так долго, что я успела заметить на дальней полке недоделанный меч в ножнах из сырой кожи, узкий, с рукоятью, обмотанной проволокой. Не для торга, слишком хорошая работа для торга. Над ним висел на гвозде маленький деревянный конёк, детская игрушка, почерневшая от копоти. Кетиль проследил мой взгляд.

— Для сына, — сказал он про меч, хотя я не спрашивала. — Он у ярла в дружине, второй год. Ярл даёт своим оружие сам, только своё оружие лучше.

Сказал он это спокойно, но я заметила, как он после этих слов отвернулся к горну и поправил угли, которые не нужно было поправлять. Больше про сына он ничего не сказал, а я не спросила.

— Показать можешь? — спросил он наконец. — Не рисунок. Руками.

Я прикинула, что у него есть. Котелок, маленький, бронзовый, литров на пять, с толстыми стенками, стоял у горна вверх дном. Глина в корыте у стены, та самая серая, жирная, которую я видела у литейщиков. С трубкой было сложнее: металлической не нашлось, зато на верстаке лежала костяная, из которой, наверное, собирались сделать рукоять ножа.

— Могу, — сказала я. — Мне нужен вон тот котелок, воды на треть, глина, эта костяная трубка и что-нибудь круглое, что войдёт в неё туго. Деревянная палочка. И огонь у вас уже есть.

Кетиль посмотрел на меня так же, как только что смотрел на рисунок. Потом подал мне котелок.

Я налила воды. Сверху положила плоскую бронзовую крышку от чего-то другого, которую нашла у него на полке, она легла почти вплотную. Посредине крышки была дырка для ручки, как раз под трубку. Я вставила трубку в дырку и обмазала весь шов между крышкой и котелком глиной, толстым слоем, и вокруг трубки тоже, туго, до самых пальцев. Кетиль молча подал мне ещё глины, когда моей не хватило. Потом я выстругала его ножом палочку из щепки, подогнала под трубку, пока она не вошла внутрь туго, с трудом, на палец в глубину, и оставила её торчать сверху.

— Ставьте на угли, — сказала я. — И отойдите. Лучше вон туда, за наковальню.

— Куда полетит? — спросил Кетиль.

— Вверх. — Я задрала голову. — Там у вас крыша. Если не пробьёт, отскочит.

— А если пробьёт?

— Значит, я плохо рассчитала, и вы мне выставите за крышу счёт.

Кетиль хмыкнул и поставил котелок на край горна, в угли. Хельга, не вставая с чурбака, отодвинулась к самой двери. Мы с Кетилем отошли за наковальню.

Сначала ничего не происходило. Я стояла за наковальней и думала о том, что сейчас решается гораздо больше, чем судьба одной палочки. Если глина не выдержит, если трубка треснет, если я ошиблась с водой или с плотностью посадки, Кетиль вежливо попрощается, Хельга потеряет ко мне интерес, и завтра я буду таскать тюки у неё на складе. Опыт, который в институте занимал у нас пять минут на лабораторной, здесь стоил мне всего. Глина на шве потемнела от жара и начала трескаться мелкой сеткой, и я испугалась, что шов не выдержит и пар уйдёт через трещины. Но глина только трескалась сверху, а внизу держала. Потом из-под крышки вырвалась одна тоненькая белая струйка, зашипела и тут же иссякла, потому что трещину затянуло спёкшейся глиной. Потом котелок тихо загудел изнутри. Гул был низкий, ровный, и я услышала, как он меняется, как нарастает.

Палочка шевельнулась в трубке. Я увидела, как она приподнялась на волос, и Кетиль рядом со мной тоже это увидел: я почувствовала, как он перестал дышать.

А потом раздался хлопок, негромкий, сухой, и палочка ушла вверх, в темноту под крышей. Стукнула о балку, отскочила, упала на пол у двери, к чьим-то ногам. Секунду назад там никого не было.

Из трубки с визгом била белая струя пара, почти до самой крыши, и под ней облаком стояла водяная пыль. Потом давление упало, струя опала, и котелок только тихо сипел на углях.

Лейф наклонился и поднял палочку. Повертел её в пальцах. На конце она обгорела и потемнела от горячего пара. Он посмотрел на неё, потом на котелок, потом на трубку и, наконец, на доску с моим рисунком. Когда он пришёл, я не знала. Видимо, в тот момент, когда я обмазывала шов, потому что тогда я ни на что вокруг не смотрела.

Кетиль вышел из-за наковальни. Он подошёл к горну, снял котелок клещами и поставил его на землю. Потом присел рядом на корточки и долго смотрел на трубку, откуда всё ещё тянулась тонкая ниточка пара.

— Палку, — сказал он, не оборачиваясь, и Лейф молча подал ему палочку.

— Здравствуй, Лейф, — сказал Кетиль, всё так же не оборачиваясь. — Якорь твой ещё держит?

— Держит.

— Значит, я его хорошо сделал. — Кетиль наконец обернулся к нему. — А это ты привёз?

— Он мотнул головой в мою сторону.

— Море привезло, — сказал Лейф. — Я только вытащил.

Кетиль осмотрел палочку так же внимательно, как осматривают клинок после закалки, и вернул её Лейфу. Потом поднял голову и посмотрел на меня. Жалости в его взгляде больше не было, и осторожности тоже.

— Сколько выдержит медный котёл? — спросил он. — Лист в палец толщиной. Клёпанный.

Вот тогда я поняла, почему Хельга привела меня именно сюда. Он не спросил, как это работает, это он увидел сам. Он спросил, из чего это делать. Это был дельный вопрос, и задал его не инженер.

— Смотря какой котёл, — сказала я. — Круглый держит лучше всего. Чем меньше, тем крепче. Клёпанный шов слабее самого листа, поэтому швов лучше поменьше и чтобы нахлёт шире. И мне надо знать, какая у вас медь. Чистая или с добавками.

— С юга приходит разная.

— Вот это и надо проверить.

— Проверим. — Кетиль встал и отряхнул колени. — Сколько тебе нужно такого? — Он кивнул на котелок. — Чтобы корабль пошёл.

— Сильно больше. Котёл в мой рост. Цилиндр вот такой. — Я развела руки. — Трубы. Вал. Колёса. Кривошип... — Слово опять вышло по-русски. Я огляделась и показала на точильный круг у стены, большой, каменный, на деревянной оси, с ручкой, изогнутой коленом.

— Вот это. Вы крутите ручку, и круг вращается. Мне нужно то же самое, только без человека. Чтобы поршень толкал ручку, а ручка крутила круг.

Кетиль посмотрел на свой точильный круг как на чужую вещь. Потом очень медленно, по-стариковски, почесал в затылке.

— Двадцать лет крутил ручку, — сказал он.

— Все крутят, — сказала я. — Никто не пробовал, чтобы она крутилась сама.

— Ну, вы тут договаривайтесь, — сказала Хельга, вставая с чурбака. — Я своё сказала, я вас свела. Кетиль, моя доля — с торговли тем, что эта штука привезёт. Твоя — с работы. Её доля — с головы. — Она посмотрела на Лейфа, стоявшего в дверях, и на мгновение прищурилась. — А его доля — с корабля. Если он даст корабль.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.